

ВИКТОР СБИТНЕВ



СМЕРЧ

РАССКАЗ

Сильные ураганные ветры прошли по ряду областей Волго-Вятского района, вызвав разрушения и человеческие жертвы.

(Из газет)

Алексей приехал в Соколиху из райцентра, где родился, но, что называется, не сгодился. Пришёл из армии, и заболтало парня: и там поработал, и тут, да всё не то казалось — не на своём месте. А хотелось, чтобы то: и людям польза, и душе достаток. Хотелось вставать рано-рано с улыбкой ясной и улыбкой же встречать незаметно приступающий из-за леса вечер. И думалось Алексею, что это “рано-рано” да ещё “с улыбкой” — самая сложная штука в жизни.

В Соколихе жил Гришка по прозвищу Ёкарный, давний дружок Алексея и немного родня. Простодушный и компанейский Гришка как-то и сказал Алексею в райцентре:

— Айда, Алёша, к нам. Пыльно у вас тут, и гудрон в нос лезет. А у нас как на курорте, живи — не хочу...

Алексей через пару дней и нагрянул. Ёкарный попусту не болтал, а потому появилась в его избе вторая койка.

Места здесь были и впрямь хоть куда! Выйдешь за околицу — лес рядом, берёзовый, ещё ближе — подлесок сосновый. Поле с гречихой к селу от леса — благодать по вечерам стелется. Два пруда посреди села прохладой

СБИТНЕВ Виктор Альбертович родился в 1955 г. в Москве. Окончил Ленинградский государственный педагогический институт. Работал журналистом в "Северной правде", "Костромском крае" и других изданиях. Автор нескольких сборников прозы. Живёт в Костроме.

дышат, ивы вековые над ними клонятся, под ивами бани сползают пологим берегом к воде. Но особый, ни с чем не сравнимый вид придавала селу церковь: она плыла куполами над селом, над его вёслами и коньками, загородками телеграфных столбов и путаницей телеантенн, над густой невысокой зеленью садов и палисадников. И словно закрепившись за неё, как за пуп земли, село вольно растекалось по округе: влево — к школе, вправо — к колхозным фермам.

В церкви давно не служили, но на неё смотрели радостно, как на всякую очевидную красоту. Здесь же в центре и сельсовет облицовочным кирпичом светится, и магазин с ларьком рядышком торгуют, и почта, и библиотека, и клуб тут же сотрясает округу колоколом репродуктора, да так, что голуби в колокольнях начинают испуганную возню и, теряя перья, валяются куда-то вглубь церкви.

Алексей в первый же день вышел за околицу под синее небо да под несомую кудель облаков, свистнул и оторопел:

— Ах ты! Далекое видать-то как!

Подожёл Ёкарный, чиркнул лукавым взглядом:

— Чо, Алёха?.. — И поглупел от удовольствия, что другу пришлось по сердцу его родные места. — Ты погоди, ходим в лес. Сколь там нонче грибов! Маслят — хоть косой коси, и солонух несут... прорву!

И родилась в голове Алексея идея первого предприятия. Он глянул на лес, потом на село, осмотрел место, где они стояли. Это был лужок с вереницей берёз по краю и большой раскидистой ветлой посередине.

— Вот... здесь я его и поставлю!

— Кого? — непонимающе спросил Ёкарный.

— Завод.

— Какой завод? Ты, Алёха, часом того... не ошибаешься?

— Грибной завод, — серьёзно сказал Алексей, — поставлю сарай, печку сложим, пару котлов в неё всадим, бочки выпишем, тару... И пошла работа! Лес рядом, грибов море, старух тоже. Станем у них по сходянью принимать маслята, волнухи и мариновать. Я в районе пробую что надо. Да и надо-то пустяк. А пользы сколь, Гриха? Гриб хлынет на областной рынок, а то и дальше... с этикеткой соколихинского завода.

Григорий сначала ошалел совершенно, но потом загототал так, что вольготно гулявшая поблизости стайка куриц стремительно взвилась в воздух и на бреющем полёте скрылась за стеной бурьяна...

— Сколько живу на свете, никогда не видел, чтобы курицы так далеко летали! — искренне удивился Алексей.

Ёкарный поостыл, глянул серьёзнее:

— Ладно, Алёха, я строить подсоблю опосля работы, а там уж сам чалдоном вари. — Потом усмехнулся и прилепил кличку: — Грибной дилектор!

Так она за Алексеем и потянулась, и много в ней было, как выяснилось потом, не только смешливого удивления, но незаслуженной злой иронии, но она принадлежала уже не Григорию.

Тихая, незаметная жизнь этих мест наложила свой отпечаток на лица их обитателей: колхозников и путейцев, стариков и старух. Были эти лица в большинстве своём крупные, загорелые, с постоянным выражением холодного любопытства. Когда в сельский магазин заходил кто-нибудь из приезжих, на некоторое время его окружали всеобщим вниманием, которое выражалось обычным для здешних мест, так сказать, фирменным вопросом: “Ты чей?” Приезжий объяснял, кому и кем он из здешних приходится, неистово жестикулируя, коверкая слова и даже глупея от прикосновения к собственным истокам. Его внимательно выслушивали, а потом начинали хмуро смотреть в окно или на прилавок.

Кто-нибудь говорил приезжему: “Ну-ну...” И чёрт знает, что это значило: то ли живи, мол, то ли не помним, дескать, такого, а может, и ещё что. Словом, в селе устали от своих приезжих, устали от их праздного фланирования по углам, от этой подчёркнутой фамильярности, от их обшарпанных джинсов, перемётных сумок, интереса к иконам и самогоноварению.

И хотя Алексей был вполне свойским парнем, фирменное допрашивание не обошло и его. Причём, надо полагать, о нём сельчане вынесли весьма смутное представление. Но Алексея на первых порах это не шибко заботило. Он побывал везде, где надо, навозил тёсу, сделал разметку, нивелировку — и пошла работа. Вечером приходил Григорий, здоровался с “грибным дилектором”, шутил, потом брал топор и ошкуривал стояки или подгонял доски. Они пилили, спорили о гвоздях: “Сотка али как?”, дупили комаров, которые продыху не давали, потом прибирали инструмент и шли ужинать.

А вечера, какие вечера стояли в Соколихе! Мир становился прозрачно-синим, нездешним. Тёмный силуэт леса подбивали снизу слоистые кантики молочного тумана, ветлы не шевелились, в кустах и травах начиналась какая-то таинственная жизнь, сонном шорохов и шевелений навевающая чувство тихого и ясного покоя. Тишина стояла такая, что бляение заблудившейся на другом конце села овцы откликалось в насупленном лесу каким-то дьявольским, булькающим эхом. В густом лягушином пении угадывались одновременно и мягкие тона летней расслабленности, умиротворённости, и звенящие какие-то медные звуки странной сосущей тревоги...

— Эх ты, а грибами-то из лесу тянет, Алёха! — нарушал тишину Григорий.

— Да, гриб, аж земля хрустит.

Скоро сложили печку, поставили, правда, всего один котёл для кипячения, но со сливом, всё по науке. Алексей привёз чистые новенькие кадки и прочную нехитрую утварь, но, когда уехал за денежной ссудой, погода разладилась. Из “гнилого угла” принесло низкие свинцовые тучи, и зарядил противный, совсем не летний дождь. И не было ему ни конца, ни края. Такая прорва гнили угадывалась в небе, что мужики, тупо глядя на упавшую серую рожь, доставали из запечков скрученные “подкожные” трёхи и шли к магазину за “красенькой”.

Здесь и стал Алексей, как человек новый, улавливать во всей здешней жизни какую-то необъяснимую неисправность. Мариновальню он построил, но грибов не несли: гриб загнил, да и собирать его на дожде что-то никого не тянуло. Раза три или четыре сдавали ему по корзине рыжиков изрядно проспиртованные мужики и, получив магические суммы, растворялись в дождевом сумраке, мокрые, грязные и хитрые. Алексей сделал две варки, но всё вместе взятое не составило и трети кадки. Он замариновал грибы в трёхлитровых банках и скоро начал их есть сам, потому что больше не несли, а есть хотелось, на дожде особенно. “Вот ведь как бывает, — размышлял Алексей, — гриб был — печки не было, печка появилась — гриба не стало”.

Время шло, и лето как-то незаметно превратилось в осень. Над Алексеем смеялись, и никто всерьёз его не принимал с его грибной фантазией. К тому же по осени стали ломать в селе молочный завод, потому что такая роскошь при малочисленном стаде встала колхозу в копеечку. От завода остались “бетонные воспоминания”.

В это же время возле его заведения по неубранному полю пустили овец, и поле стало гладким и чёрным, словно его не только убрали, но и вспахали. Алексей посмотрел, зло плонул и оставил заведение зарастать травой. С него никто особо за это и не спрашивал, словно всё так и должно было происходить по установленному кем-то порядку. Скоро приехали мужики, погрузили тару, разобрали крышу и стены, вырвали из печки котёл и уехали. Печку ночью кто-то украл по кирпичу, и от летних деяний Алексея к зиме осталась только кличка. Когда в клубе прокрутили мексиканскую картину “Грибной человек”, Алексей вовсе перестал нос показывать из дому, но потом Григорий привёл в гости приятелей с работы — он работал электриком, — и Алексей вышел в народ. Зимой он помогал Григорию менять проводку, чинить приёмники и телевизоры, работал сторожем в магазине, пильщиком лесопилки. Он стал присматриваться к людям, словно впервые видел их. Были они здесь какие-то вялые, словно устали от постоянных трудов, забот и скандалов. Малочисленная молодёжь сидела у телевизоров или крутила пластинки в клубе, мужики редко собирались поговорить, разве что за бутылкой, и в основном ругали всё подряд, но тоже как-то вяло, без интере-

са, словно вся эта картина ни для дела, ни для них самих не имела никакого значения, словно говорили лишь потому, что просто надо что-то говорить, как есть, пить, дышать...

— Ну, что нового? — спрашивал Алексей Григория, который обычно приходил позднее и был средоточием всех сельских новостей.

— Сергей Никулин сельповеску лошадь утопил, а Коляна Колотихин колхозну корову задавил, — не торопясь, выкладывал Григорий.

И Алексей не знал, смеяться ему или плакать.

Конечно, были на селе и свои радости, и свои проблемы, но бутылке радоваться Алексей так и не научился, а проблемы решались как-то сами собой. Однажды за игрой в “козла” в избе Лёни Раменского вышел разговор, гвоздём которого был вопрос: отчего молодёжь не держится в Соколихе? Спорили на этот раз много, доводы приводили резонные, но поразило Алексея другое: он вдруг узнал, что за последние годы молодых погибло в селе около десяти человек. Григорий, перечисляя, даже сбился. Выходило по-разному: не вернулся из армии, опрокинулся на тракторе в реку, сгорел пьяный в постели, некоторые сами творили над собой расправу — вешались, стрелялись, а один тракторист сиганул с ветлы, крикнув на полсела: “Прощай, мама!” Было в этом что-то зловещее, почти невероятное. Алексей даже вспотел и прозевал масть. “Душно как”, — подумал он, отодвинул карты и вышел, как здесь говорили, не на улицу, а на “волю”. Следом вышел Григорий, сжал другу плечо, и они шагнули в ночь...

Скоро пришла весна, вздулись пруды, по улице стало не пройти. Телились коровы, густо полилось молоко. Мужикам за зиму пить надоело, и на Пасху они ели творог. Надо сказать, что Рождество и Пасха по-прежнему праздновались в селе вровень с Новым годом и Первым мая. Мужики, добивавшие немца в Восточной Пруссии, знали наизусть речи Сталина и Псалтырь. Они не ходили на службу, но на похоронах их голоса ладно вливались в сладкозвучный женский хор в прикладбищенской церкви, придавая ему гордой красивой силы.

Алексей любил эти хоры больше всего. От них веяло духом людского братства, духовного единства, и он, сочувствуя родственникам усопших, ощущал нужность своего участия и участия всех этих мужчин и женщин, нужность их слёз, их горьких причитаний. Хоронили часто. Село явно усыхало. От некоторых улиц остались лишь ямы, другие насчитывали три-четыре дома. Поэтому хор спелся, и плакать научились благородно, не теряя достоинства. Нет, в этом не было театральности, но была привычка к горю, и Алексей правильно почувствовал это.

Когда приносили покойника на кладбище, чтобы опустить в рыжую супесчаную землю, все плакали, как по своему, а потом и впрямь расходились по могилам родных, и плач заметно усиливался. Выдёргивали сорняки, сыпали на холмики пшено и рис, горбились над выцветшими фотографиями, о чём-то настойчиво выпрашивая неясные лики своих немых сокровников.

Через день село возвращалось к своей обычной неброской жизни, но пасмурное молчание ещё не скоро выветривалось с его шербатых улиц. Посносив мосты и потрепав подполья, паводок быстро пошёл на убыль, а снег, ещё некоторое время поблескивавший по краям оврагов, в одно прекрасное утро взял и исчез, и Алексей почувствовал тёплую волну из-за леса. Пахнуло подснежниками, проклюнулись мелкие жёлтые цветочки, вовсе отошла верба и, наконец, зашуршали почки берёз и тополей. Весна наладилась на редкость тёплая — в мае все уже купались и каились на солнышке, пололи огороды и с волнением прислушивались к дружному пчелиному гуду на пасеках.

Черёмуха и сирень отцвели за неделю, кое-кто даже не успел попробовать любимого на селе аромата. Вместе с сиренью да яблоневым цветом утратила округа весеннюю прохладу и свежесть. Дни становились знойными, и лишь ночи ещё дарили людям запахи росистой лужайки и будоражащее озорство соловьев перед рассветом.

Ночью над головой густо падали звёзды, а вокруг царили светлячки, так что весь мир перемигивался и пересверкивался, словно затевалась какая-то колоссальная иллюминация. И Алексей видел себя в этом мире как бы со

стороны и поэтому не удивился, когда возле самого сеника набрёл на лося, и тот, тяжело вздохнув, неторопливо побрёл к лесу; когда большой бельгий кот на его глазах подкрался к улью и украдкой стал подслушивать пчёл, сунув нос к самому летку; когда странная чёрная птица широкими крыльями заслонила над ним луну и с сухим шуршанием растаяла в небе.

Однажды, когда уже светало, Алексей возвращался в село из города. Он шёл с разезда лесом, беспечным свистом подражая то жаворонку, то картавой сойке. Последние звёзды мерцали за спиной, кутаясь в чешуйки мелких перистых облачков, словно им было зябко на утреннем холодке, а впереди восход уже румянил горизонт.

Миновав подлесок, Алексей взойшёл на холм и глянул на село, которое курилось в низине лёгкими дымками. Больно сжалось сердце, от напряжения заломило глаза...

— Что за чертовщина... — сказал он вслух. — Не так что-то.

Село было плоским, чужим, хотя без труда угадывались знакомые пруды, дороги и тропки в округе. Алексей сел на дорогу и опустил голову: в селе не хватало церкви.

Мигом пронеслись в мозгу обрывки разговоров в магазине и в клубе, что, дескать, церковь подгнила, купола покосились, ломать собираются... “А почему Гриха не сказал? Он же всегда всё заранее знает. Ведь это его село, его красота... А может, он говорил? Да, кажется, говорил, но ненавязчиво, вскользь... может, и обиделся, что я его попросту не слушал. Это в духе Ёкарного”. Когда Алексей подошёл к дому, Гриха уже сидел на скамейке перед окнами и обдувал одуванчик. Он посмотрел Алексею куда-то в подбородок, опустил одуванчик, кивнул в сторону села и устало произнёс:

— Амба, Лёха, новой не построят...

И навалилась вдруг на Алексея такая тоска, такое бессилие вдруг наполнило каждую его клетку, что он не мог даже сжать кулак, а говорить ему стало невыносимо. От собственных слов, даже не произнесённых вслух, его затошнило. Он ходил мимо обломков церкви — брёвен, досок, листов ржавой жести, ещё не разбитого краснокирпичного фундамента — и всё никак не мог понять: зачем? В наше время... Здесь ему встретилась собака. Она сидела на облупленном кресте и выкусывала блох. У собаки не было глаза и половины уха. Здесь же утром Алексей увидел другую собаку, которая, с трудом проковыляв через дорогу, отдыхала в лопухах. Задняя лапа у неё была отрублена по самую ляжку. Рядом, возле избы, крупный мужик в полосатых штанах с придыхом колот дрова и едко матерился.

Уже в июне село стало зарастать матёрым лопухом и крапивой. Почти в каждом дворе лопух норовил взять верх над всякой другой зеленью и, достигая невероятной величины, должно быть, сам себе удивлялся. Алексей наблюдал однажды такую картину: председатель сельского совета Пётр Васильевич Дерябин уговаривал доярку Симкину:

— Нюрк, ты поруби лопух-то. Глянь, сколь его у тебя. Начнись пожар — ведь из дому не выйти. Запутаешься в лопухах, сгоришь к чёртовой матери!

— Срублю, Пётр Васильевич, срублю, кормилец. Ты мне тока серп наточи — я и зля твоего дома срублю.

Алексей вспомнил, что к этой самой Нюрке Симкиной приезжал зимой сын с Севера. Пробыл у неё день, а под вечер, уже собравшись в дорогу, сказал: “Мамка, дай денег, а то убью... Я тебя в карты проиграл!”

Июль стоял невероятно жаркий, доходил до сорока в тени. Деревья и трава увяли, пруды высыхали на глазах, а горькая дорожная пыль, словно вулканический пепел, серым облаком стояла над округой и густо оседала повсюду, придавая крышам, поленницам и заборам одинаковый безжизненный цвет. Духота гнала в воду, но вода в пруду до того нагрелась, что почти не приносила облегчения. Алексей и Григорий обливали друг друга из коловца, но в колодце оставалось на доньшке, а потому приходилось экономить. Ночью жара почти не спадала, роса исчезла вовсе, и даже жабы перестали звенеть под брёвнами возле бани. Однажды в полдень стало совсем невтерпёж. Григорий ходил от избы к половне и от половни к избе. Алексей,

не обращая внимания на комаров, лёг под ветлой и положил на лоб мокрую тряпку. При полном безветрии сильно парило. Где-то горели леса, солнце едва угадывалось сквозь дымно-пылевую плёнку, и иногда казалось, что оно безнадёжно запуталось в старой свалывшейся паутине... И вдруг, в тот самый момент, когда Алексею стало совсем невмоготу — хоть в колодец по верёвке спускайся, — пространство над ним заколебалось. Это не было обычным лёгким ветерком, скорее походило на движение воздушных масс куда-то ввысь, от земли...

Алексей поднял голову и увидел далёкую черноту на западе. Туча быстро росла, принимая форму клина, острие которого хищно целилось в сторону Соколихи. “Ну и скорость, — успел подумать Алексей, — однако молний не видно”. Странная тревога закралась в сердце, но тут же пропала. И тут он увидел, что туча слишком низка для дождевой и странно меняет форму. Вот она скрадывает углы, всё более вытягиваясь по вертикали, напоминая теперь уже не клин, а летящий пчелиный рой. Рой летел к Соколихе, чудовищных размеров рой, и было слышно уже его грозное жужжание. Вдруг совсем рядом что-то гулко хрустнуло, словно лопнул ствол гигантского дерева, и тут же завывло, как в аэродинамической трубе.

Тонкие невидимые иголочки впились в тело Алексея, и он увидел, как возле леса исчезли один за другим несколько костров вершинника и кучей зловещего бурого месива устремились прямо на него. Впервые не было в голове никаких мыслей, были немой страх и оцепенение. Струя горячего воздуха вперемешку с песком резко обожгла лицо, с ветлы густо посыпались сначала листья, затем ветки и даже куски коры. Через мгновение невидимая сила пригнула дерево к самой земле, выдирая из его макушки огромные сучья. Алексей подняло над землёй и прилепило к стволу, как вымокший осенний листок. Ему так сжало грудную клетку, что он почувствовал себя совершенно плоским. И в этом полубормочном состоянии, с забитым грязью ртом и разъятыми поперёк ствола руками, глазами, летящими из орбит, Алексей увидел, словно не здесь рядом, а на далёком лиловом экране, как медленно, словно при замедленном повторе, вместе с обрывками толя и железа с избы поднялась крыша и, плавно покачиваясь, стала уходить вправо и вверх от сруба. Вырвало ставни, и из почерневших вдруг окон, как из прорех туго набитого мешка, посыпалось и полетело разное.

— Греха! — скорее прохрипел, чем прокричал, Алексей и вместе с деревом канул в огромную страшную бездну...

Смерч. Он пронизывает своим губительным дыханием, сжимает, скручивает, разрывает и всё вольно рассеивает по земле. На выжженной солнцем равнине с вывернутыми пластами пепельно-чёрного торфа, и в этих зарослях ольшаника, густо разбавленного черёмухой и крушиной и туго спутанного колючей проволокой ежевики, и в этих зелёных водах хитро витой речки, и в этом молчаливом лесу, что так властно и бесконечно смотрит с высоты несчётных холмов, уходящих высоко-высоко, к утреннему солнцу.

Смерч. Откуда он взялся в этих краях, так долго хранивших мир и покой, таких срединных и бесконечно далёких от морей и гор, от штормов и землетрясений? Тугой, разящей волной хлестнул он по среднерусским деревушкам, срывая шиферные крыши и унося их в соседние районы и области, вырывая с корнем деревья и мачты электропередачи, опрокидывая машины и поезда. Налетали и раньше песчаные вихри и снежные бураны, наползали обложные грозы, когда всё вокруг слепло и глохло, утожили здешние места убойные грады и заливали плотные, как стена, ливни; бывали такие зимы, когда мерещились далеко на севере диковинные блики полярного сияния, и приходили губительные засухи, когда в луговые трещины проваливались коровы. Но смерч...

Одноэтажный каменный дом снесён до фундамента; огромный металлический резервуар под удобрения, как перышко, поднят с поля и мягко опущен посреди села; чудом оставшийся на месте платяной шкаф доверху набит шифером, а в полуразрушенных избах выбравшиеся из подполья хозяева обнаруживают вещи, которых никогда не приобретали. Израядно потрёпанный мужик, отлеживаясь в больнице, узнаёт, что его документы найдены в соседней области... И так до бесконечности...

Что это? Случай? Стечение обстоятельств? Мечь природы?.. Все утормо смотрят за горизонт, куда сдунуло полдеревни чудовищной волной.

— По радиву бают: с перепаду, мол...

— С юга жаркой задул, а с северу холодная...

Так через несколько дней судили о причинах смерча сельчане, разводили руками и, против обыкновения, не спорили. И даже местные ведуньи странно молчали, словно, праведно прожив всю жизнь по вековым приметам, вдруг неожиданно засомневались в чём-то.

ЗА ИМЕНЕМ

РАССКАЗ

Мать родила его на плохо обструганной лавке, охая и причитая. Немного оклемавшись, она сунула ребёнка мужу и наказала ехать в церковь, чтобы побыстрее окрестить дитё при образах: в уезде тогда начиналась холера. Церковь стояла в Старинском, на горе, поэтому виднелась в ясную погоду вёрст за двадцать. Село это славилось также своими шумными ярмарками, где покупали всё: от фунта гвоздей до молотилки. Отец новорождённого поехал с братом, которого жена снарядила за поросёнком. “Крёстным будешь”, — сказал родитель. На этом и порешили.

Дорога шла полем. Лес оставался верстой левее. Сначала по утреннему холодку ехалось легко. Колёса в селе загибали хоть куда, и телега катилась мягко. Ребёнок спал. Братья грызли горох, покуривали да поплёвывали. Однако час спустя, несколько раз робко скользнув по горе с благословенной церковью, солнце вдруг глянуло на мир во все глаза, по-июльски пристрастно и колюче. И сразу защипало в носу от пыли, защипало возле лица по-комариному, а над лошастью взялись глумиться оводы. Она недолго вертела коротко обрезанным хвостом, а сразу перешла на галоп, теряя по ветру пену и едва не доставая задними копытами оглоблей.

Ребёнок проснулся и уже не замолкал до самого Старинского. Брат правил, едва справляясь с ретивым животным, а несчастный отец, задыхаясь от пыли, кое-как закрывал дитё рогожкой.

В Старинское словно ворвались. Лошадь однако несла уже странным образом: не рысью, не галопом, а так как-то — ни то, ни сё. Лица, шеи и руки братьев посерели, мальчик охрип. Возле крайнего колодца напоили измученную животину, потом напились сами и, обливаясь до пояса, смотрели с состраданием на дитё.

— От ить, чёрт-жена!

— Оно, конечно, да...

— Что да?

— Мрут ведь, братуха?! А вдруг! Не приведи господь!.. Нехристом помирать и малому ребёнку не годится.

Они пропитали хлебный мякиш сцеженным молоком, завязали в редкую материю, поднесли ребёнку к губам. Раз пять он недовольно выталкивал мякиш изо рта, но потом успокоился, часто зачмокал и словно как задремал.

Минуту посовещались, решили сначала исполнить главное. Брат несильно хлестнул разомлевшую на солнце кобылу — телега дёрнулась и заскрипела в гору. Проехав два-три переулочка, мужики услышали нарастающий шум, в котором угадывались голоса людей, и крики животных, и звон посуды, и много другое, едва ли могущее быть узанным на слух.

Базар развернули на площади во всей красе в какой-нибудь полуверсте от церкви. И в это бесхлебное время чего, однако, на нём только не было. На берёзовых столах влажно краснели неизвестно как выращенные до срока крепкие татарские помидоры, горки “белого налива”, казалось, просвечивали на солнце, а зелёный лук жирными пучками неистово зеленел тут и там по базару, разбавляя своим сочным цветом бурые груды первой свёклы, плоские кругляши жёлтой репы и оранжевые россыпи завозной черешни. Бородатые мужики с Суры бойко торговали зеркальным карпом и золотым ливнем, ловко выуживая скользких рыбин из пузатых корзин с крапивой. Столетний дед, сухой, как камышина, тряс на ветру полдюжиной свежесплетённых лаптей и кричал, подыкивая: “Лапти-и-и-и!” Круглолицый и краснощёкий дядя в кожаном фартуке разрубал пополам огромную свиную голову, пятючок которой, с кулак величиной, выплёвывал на передник его соседки крупные сгустки крови, словно уже живя какой-то новой, самостоятельной жизнью. Продавали здесь и лошадей, и коров, и коз, и овец, и...

— Поросят дают! Эх ты... — вдруг неожиданно тревожным голосом выкрикнул брат.

— Где увидел-то? Ничово не видать! — откликнулся голос из-за спины.

— Вона мордовка с мешками зля лапотника. Айда узнаем. Тута рядом.

— Может, опосля?

— Чо опосля? Разберут али уйдёт куды-нето, — не унимался брат и уже, не ожидая согласия, направил кобылу с дороги к площади.

Поросёнка выбрали сразу. В отличие от своих собратьев, он сидел возле ног мордовки и, казалось, насмешливо посматривал на мешки, из которых сам не так давно был извлечён. Поросёнок взял своим задором и какой-то совсем не поросячьей вежливостью.

Когда его передавали из рук в руки, он всего один раз настороженно хрюкнул, но с телеги глянул ещё приветливее, и видно было, что новые хозяева понравились ему больше прежних. Самое же странное в поросёнке было то, что он уже имел кличку, на которую живо откликался. Довольные покупкой, неспешно ехали по базару. Вид у обоих был по-хозяйски гордый. Ребёнок спал. Поросёнок сосал новому хозяину палец и повиливал хвостом.

— Жена одобрит. Она сама из проворных, ей тоже палец в рот не клади, — рассуждал брат и, шутливо пугаясь, выдёргивал палец из поросячьего рта.

Вдруг неизвестно откуда взявшийся вихрь надул пузырьём рубахи, закрутил в воздухе пучки сена и базарного сора, взлохматил весь рынок и, подняв к синему небу всё, что не успели схватить, унёсся бог весть куда, оставив разинутые рты и... матерные слова. Остро запахло солёным огурцом.

— Эх, а ведь надо бы, братуха, того... как полагаешь? — хозяин поросёнка с надеждой глянул на брата.

— Оно конечно бы и надо, да в церкву-то больно не с руки. А ну как поп дух сивушный учует? Попрёт небось.

— Не попрёт. Моя баила, он сам с ранья трескает.

Телега в это время поравнялась с красноносой бабой, весело взиравшей на округу:

— Ну что, страннички, с покупкой, что ль?

— Сама вишь!

— Ай да поросёнок!.. Справнай, справнай! Такой не сдохнет, если чово такого не сожрёт по своей проворности.

— Небось не сожрёт.

— Так её того, покупку-то, застряхивать надоть. А то не по-людски. Сдохнет покупка!

— Я те сдохну! Давай, чо у тея есть?

— Медовка, мужики, медовка! Сама мёд качала, сама ставила, сама пробу сняла.

— Давай нам с брательником по кружке.

Баба, тут же замолчав и приосанившись, старательно нацедила в кружки жёлтой браги и дала по огурцу. Братья чокнулись, сдунули воздух на сторону, запрокинули свои бородатые подбородки и крякнув, как положено, ра-

зом захрустели огурцами. Брага была хоть куда. Жаром прошла по нутру и тут же бросилась в голову. Огурец душисто отдавал укропом и смородиной.

— Можа, ещё? — заговорщицки спросила торговка, — тогдашки и возьму меньше.

— Валяй! — теперь уже махнул рукой старший брат.

Выпили. Съели ещё по огурцу. Хорошо было кругом, празднично. Базар гудел, товары пестрели густо и пахли смачно. Братья давно не видели такого стечения народа, давно не чуяли этой волнующей базарной праздничности, давно не брали в рот хмельного. И вот сейчас они разом ощутили, что, несмотря на холодную зиму и войну с германцем, бесхлебье и начавшуюся холеру, они живы-здоровы, сидят на телеге, пьют и едят. От прихлынувших волной чувств старшой глянул заботливо на братиного поросёнка и ткнул ему в пяточок недоеденный огурец. Поросёнок громко захрумкал, высоко подняв мордочку и устремив глазёнки куда-то вдаль.

Огуречный рассол, блеснув росой на рыльце, беззвучно падал на настеленное сено.

— Как бишь его, братуха, кличут?

— Зотик!

Младший был доволен именем и произнёс его ещё раз, медленно растягивая звуки:

— Зо-о-тик!

Выпили ещё и, налив полчетверти на дорогу, щедро расплатились упавшими в цене ассигнациями.

К церкви подъехали, когда солнце клонилось за полдни. Привязали лошадь у ограды, рассуждали здраво: с дитём отцу идти надо — крёстному тоже надо. Поросёнка в церковь не погрёшь, но и не оставишь — сопрут. Долго думали. Три раза обнялись и облобызались. Тогда родитель рыгнул, тяжело сполз с телеги и подытожил:

— Хрен с ним. Бери поросёнка, только за пазуху, что ли.

Поп долго не рассусоливал. Лишь спросил, откуда и чьи. Взял сперва деньги, потом приготовил купель и всё остальное... Ребёнка распеленали. Он не кричал, а только смотрел на свечи, которые отражались в его глазёнках неровным мерцанием. Святые смотрели со стен и из-под купола с всепрощающим вниманием и молчали. Братья, осоловело моргая, слушали попа, иногда крестились, смотрели в купель со святой водой и подавленно вжимали головы в плечи. Но когда поп приготовился наречь новорождённого крещёным именем, с крёстным что-то произошло: он заёрзал, засучил руками, пытаясь запахнуть полы кафтана. Поп глянул да так и остолбенел с открытыми святцами и разинутым ртом: на его деяния внимательно смотрела поросычья морда.

По дороге домой пели песни и, славя Христа, прикладывались к четверти. Ребёнок почти не плакал, а только пялил свои круглые глазёнки. Отец опахивал его рожкой и никак не мог вспомнить его имени.

Домой приехали поздно и, получив от жён крепких тумачков и затрещин, с сознанием вины забылись тяжёлым похмельным сном.

— Как ребёнка-то окрестили, ирод? — спрашивала наутро жена мужа, который, бестолково вращая красными белками, никак не мог взять в толк, чего от него хотят. Но когда увидел в руках жены скалку, что-то вспомнил и попросил позвать брата:

— Он знат. Он ещё на базаре говорил.

Брат пришёл как ни в чём не бывало, только помятое лицо несколько выдавало его.

— Чо, забыл, что ли? Вот те на! Имя-то какое! Тоже мне родитель!

— Да говори же, окаянный! Напоил мово да ещё выкобениваешься! Ну?

— Похмелишь — скажу, — не растерялся деверь.

Женщина, ни слова не говоря, склонилась за печку и достала четвёрку мутной самогонки. Подождав, пока братья чокнулись, вытерли усы и взяли по ломтю хлеба, вновь выдохнула требовательно:

— Ну?!!

Что-то сверкнуло во взгляде младшего: то ли вернувшийся хмель, то ли действительно память, хранившая такое важное для семьи событие. Он не-

торопливо свернул козью ножку и, пустив густое облако вонючего дыма, как-то обыденно сказал:

— Зотик. Так батюшка и нарек племяша мово. Говорит, имя редкое, потому осчастливит носящего его непременно.

Мать новорождённого, закрыв лицо руками, так и повалилась на пол, словно выслушала страшный приговор, потом глухо и неутешно завывала.

Вечером проклятые сговорившимися жёнами брата лежали в стогу возле реки и, отгоняя комаров махрой и плевками, странно молчали. Потом старший, затоптав окурок, робко спросил:

— Слышь, братуха, а ты точняком помнишь, что Зотиком назвали, али брешешь?

— А то нет! Конечно, помню.

— Что же я-то тогда ни хрена не помню... Вроде как нас из церкви поперли из-за твоего поросёнка? Ни его ли Зотиком-то кличут, а?

— Ты чо, рехнулся? Сообрази, как така кличка у порося бывает? Его и на базар-то прямо из-под матки взяли.

— Оно, пожалуй, так, — соглашался отец Зотика, — молодец ты, братуха, а то меня бы баба совсем со свету сжила.

— Да ладно тебе... крёстный я ему али не крёстный? А что тебе память отшибло — оно ничего. Мне баба сказывала, мордовки в брагу куриного помёту кладут для крепости.

— А ты-то чо баба выперла, раз ты без помёту нахлебался?

— Чо-чо! Сдох поросёнок-то — видно, ушибли в дороге. Выперла да ещё так боднула в живот! Всё наследство отбила своим каблучищем. Я чаю, мово-то уж точно не окрестим.

И уже старший брат утешал младшего и прочил ему вскорости сына, а потом, когда звёзды густо окидали небо, когда на реке басовито закричала вышь, они долго гадали, какое в их семье теперь появится имя, и гулко хохотали над своими выдумками.

Было это в Нижегородской губернии, в Сергачевском уезде, в одном когда-то большом селе, где родился Зотик. История появления его имени передаётся из уст в уста вот уже много-много лет. Годы шлифуют её, и, надо думать, что в скором времени фольклористы ухватятся за неё обеими руками.

В ГОСТЯХ У КОЛИ

На выветренном коньке присевшей на один край избы с наглухо забитыми окошками сидит огромных размеров ворона с видом существа, неподвластного времени. От люто наседающего мороза округа утрачивает постепенно запахи и звуки, и мне не верится, что ворона живая, а не такой же муляж, как эта оставленная на произвол времени изба. Я перешагиваю через плотно схваченную сугробами изгородь, и подворье обдаёт меня бесплотной древесной стылостью. Кое-где по насту виднеются подушечки собачьих лап и катыши шерсти, нанизанные ветром на упругие стебли диких трав... С заветренной стороны избы кто-то густо натоптал рубчатой подошвой, набросал фольги и пузырьков из-под одеколона.

Это изба моих стариков, моя изба... Сюда привёз дед первый на селе телевизор, здесь мы чинили наш мотоцикл, слушали приёмник и судили о "положении". Здесь дед перекраивал свой инвалидный "Запорожец" в какой-то "перпетуум-мобиле"... Дед помер, избу поспешно заколотили, перпетуум-мобиле остался догнивать в сарайке...

Я выхожу на проложенную бульдозером дорогу и, пиная носком валенка снежные комья, иду к деревне, к её редким сизым дымкам. Ворона поднимается следом, кое-как удерживаясь на крыле в разреженном морозном воздухе. Она тяжело садится передо мной на каменные руины молокозавода. Ещё несколько “слепых” изб попадаетеся на краю деревни, прежде чем слоистый дух жилища щекочет ноздри. Топят осиною и торфом. Берёза идёт только на растопку, ею пахнет всегда в сумерки — утром и вечером.

Я захожу к своему знакомцу Коле, которого издали видно в окошке. Он всегда рад мне и угощает с дороги самоварным чаем. Раньше мы не только чаёвничали... зато теперь чаёвничать стали с размахом. Коля даже купил пшавы и достал у старух щипчики для колки сахара. Я пробую у него на выбор четыре варенья, а кроме того и медок из плошки. Коля пьёт чай раз по десять на дню и, потев, рассказывает мне о “жисти”.

— Ты думаешь, мне в город ходу нет? Кхе-е-е... Сестры вона зовут, да и дочка тоже. Она, да ты, чай, слышал, в Минске замужем. Хоть на зиму, на морозы, грит, приедь. А мне неохота, Витёк... Пусть оне до моей персоны ездют. Как раньше. Тогдашки и не звал особо никто. Все ко мне ездилы, к нам тоись с Любой. А топеря? Чо топеря сменилось? Дрова есь, трава есь, здоровье пока тоже позволят. Чо это я отсюда попрусь, а? Ваш вон дом, Витёк, просел... А какой дом был! Две зимы в нём не пожили — и хана. Ты-то сам не надумал ко мне в суседи? Будешь в Столбичах учителом. Тут и всего-то три версты.

Я пытаюсь объяснить Коле, почему я не могу пока переехать в родное село, так сказать, вернуться в родные пенаты, ссылаясь на работу, на семейные обстоятельства. Но слушает он меня рассеянно, в глазах у него своё, نابлевшее, давно решённое в эти долгие зимние вечера.

— Издаля оно, конечно, по деревне сохнуть легче. А тебе бы вот тут сидеть да пописывать. Матрёне вдовой дров путёвых не дали — статейку, церковку нашу порушили — ты опять тут как тут. Может, и не порушили, если б знали, что живёт зля ее опаснай человек.

Я слушаю Колю, смотрю на его ватные штаны, валенки и фланелевую рубаху в крупную клетку. Ноги Коля бережёт и даже в протопленной избе не расстаеться с ватными штанами... без малого вот уж тридцать лет.

В ту давнюю теперь пору, когда Коля только женился, они с Любой получили от родителей молодую корову, которая пошла в зиму первым телёнком. Примерно недели за две до отёла коровёнка закапризничала, перестала жевать серку, томилась... Сено в половенке осталось — дрянь, лопух да осока. Тогда с сенокосами было туго, и мужики хватили где что придётся: то в овраге, то в лесочке, то у дороги. В летнюю пору за всей мужичьей самостоятельностью налажен был бдительный надзор. Даже по ночам ловили дерзнувших косить траву для своей коровы. (Помню, как моя бабушка утром, дрожа от страха, заметала граблями сеной след из лесу к нашей половне.) Поэтому мужики часто оставляли “приворованное” сено на зиму, ловко маскируя стожки под костры вершинника, либо ещё как. Коля посмотрел тогда на коровёнку, на жену, взял салазки и в сумерках побрёл к лесу, где имелось у него кое-что на чёрный день... В салазках лежали топорик (Коля называл его “ружьём”) и верёвка. Когда добрался до места, уже вывездило, и наладилась сухой февральский мороз. Стожок сильно засугрило, и Коля долго отбрасывал груды жёсткого, слежавшегося снега. Потом пошёл маскировочный хворост, который цеплялся за кусты и стволы деревьев. Коля вспотел и стал порывисто дышать, всюю хватая колючий морозный воздух заморенными лёгкими. Пока добрался до сена — слава Богу, уцелевшего, — ноги в коленях совсем не гнулись, в боку кололо, а пальцы рук, исцарапанные настом, почти не чуяли. Коля скинул прохудившиеся рукавицы и спрятал руки на груди под телогрейкой. Когда они маленько отошли, стал дёргать изпод снега сено и пластами укладывать его в санки. Все мысли были о доме: о беременной жене, о голодной хворой корове, которой полагалось стать кормилицей встающей на ноги семьи.

“Люба небось, — думал Коля, — щас корове картошки намяла, отрубей подсолила... А тута и я с сенцом подтащусь. От мы ее и подыдем”. Коля

вспомнил добрые коровьи глаза с поволокой, тёплое её дыхание на холодном подворье. “Надо бы и соломки ей подкинуть свежей... побольше. Пусть её зароется и дремлет себе в тепле”.

Коля перехлестнул сено верёвками, упёрся в него валенком, стянул, стал вязать... И тут услышал морозящий душу вой. Близко услышал, почти за спиной. Во рту пересохло и стало горчить, словно всё сено на салазках было пропитано польнёю. Коля увидел над ближайшей сосной большую бесчувственную луну и рядом с ней маленькое белое облачко, сквозь которое катились на макушки леса синие холодные звёзды...

Коля понял, что дела его плохи, потому что до опушки было версты две. Не пройти и половины. Он вспомнил, как в детстве видел порезанных волком овец, вспомнил их беспомощно вытянутые шеи с кровавыми прорехами на горле, вспомнил их грязную липкую шерсть...

Коля подтащил салазки к раскидистой сучковатой сосне, прислушался и, холодея, понял, что не взял спичек... Между тем вой приблизился и смолк.

— Всё, засекли, сволочи! — подумал Коля вслух и, захватив вязанку сена, полез вместе с ней на сосну.

Он выбрал надёжную развилку, где, закрепившись верёвкой, как мог, утеплить себя сеном и лапником. Волки надёжно обложили его на дереве, как охотники медведя. Он впервые в жизни увидел совсем рядом их холодные злые глаза и услышал нетерпеливый зубной лязг возле самых своих ног, потому что некоторые из зверей, вставая на задние лапы, тянули свои ощерившиеся рыла вдоль ствола к человеческому запаху. Сначала Коля замер, боясь даже пошевелиться. Но потом, когда мороз стал порядком донимать его, а глаза помаленьку привыкли ко всему, что творилось внизу, возле салазок, он решил бросать в волков сосновые шишки и сучки, какие удавалось достать топором. Звери шарахались от дерева в стороны, но потом снова подбирались к стволу и нудно выли, словно уговаривая Колю к ним спуститься.

Под утро Коля понял, что замерзает, и, чтобы не уснуть, стал разговаривать с волками, как с врагами трудового крестьянства. Но они растеребливали сено вокруг сосны и царапали её ствол когтями.

— Вот б... — плакал Коля, замерзая, — ни днём, ни ночью христьянину своё не взять!.. Как сговорились!

Колю сняли с дерева утром, выйдя на него по санному следу. Особенно у Коли пострадали ноги, которые трудно было укрыть сеном, да и двигать ими на дереве оказалось затруднительно. Проплакав всю ночь, Люба так и не решилась звать людей на поиски, чего не может простить себе и тому “странному” для села времени до сих пор...

И вот теперь я слушаю про Колину “жизнь”. Много в ней случилось — и хорошего, и плохого. Его никак не назовёшь передовым колхозником, ударником... Но и в лентях он, судя по всему, не ходил. Он жалеет мою разрушающуюся фамильную избу, обижаётся, что я не хочу к нему “в соседь”, и, не будучи человеком религиозным, всхлипывает по церкви, которую сломали недавно на его глазах.

Коля, я привезу тебе из города змеиного яда, чтобы растирать перед сном твои простуженные ноги, я пришлю тебе настоящего индийского чаю и заморских конфеток с ромом. Я обязательно вышлю тебе свою книжку, если её издадут когда-нибудь, я буду чаще приезжать к тебе... но ты прости меня, Коля, я не стану твоим “соседом”, не смогу, духу не хватит... Завтра утром я пойду к автобусу мимо поделеповатых беспризорных изб, пойду не оглядываясь, чтобы не опоздать на работу...